

О ПЕТЕРБУРГСКОМ «ГРУНТЕ», ПШЕНИЧНОМ ЗЕРНЕ И НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ

(Смысловый контекст одного из мотивов
«Преступления и наказания»)

«Он вошел на Сенную Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народу Он бы дал все на свете, чтоб остаться одному, но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один В толпе безобразничал один пьяный ему все хотелось плясать, но он все валился в сторону Его обступили, Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал Через минуту он уже забыл о нем, даже не видел его, хоть и смотрел на него Он отошел наконец, даже не помня, где он находится, но когда дошел до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего — с телом и мыслью

Он вдруг вспомнил слова Сони „Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух «Я убийца!»“ Он весь задрожал, припомнив это И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего Все разом в нем смягчилось, и хлынули слезы Как стоял, так и упал он на землю

Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастьем Он встал и поклонился в другой раз

— Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень
Раздался смех

— Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лбызает, — прибавил какой-то пьяненький из мещан» (6, 405)

Описанная сцена имеет место в последней главе шестой части «Преступления и наказания» Раскольников идет в полицию признаваться в совершении убийства Еще две страницы и начнется эпилог В эпилоге произойдет окончательное перерождение «атеиста» и преступника в человека верующего и согласного с нравственными принципами мира сего

Эволюцию героя можно представить в виде волнистой прямой Раскольников то ожесточается, что означает временное торжество

«наполеоновской» идеи и кирилловского Человекобога, то смягчается, проявляя человечность и открывая в себе огромный потенциал душевности и любви. Но можно и иначе. Один из важных композиционных приемов «Преступления и наказания» — опоясывающая рамка. Убийство Алены Ивановны становится неотвратимым, когда герой неожиданно для самого себя попадает на Сенную площадь, но ведь и явка с повинной, и долгий путь к раскаянию также начинаются тут же, на Сенной, с «лобызания грунта» столичного города Санкт-Петербурга. И на этот раз Раскольников поворачивает на площадь внезапно для самого себя. « (...)дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост, в сторону» (6, 404). И вообще говоря, все действие романа происходит на улицах и переулках в непосредственной близости от этой площади, не считая нескольких выходов Раскольникова на Острова и предсмертного путешествия Свидригайлова на Петербургскую сторону.

Ничем не мотивированному роковому «крюку», приведшему Родиона Романовича на Сенной рынок в девять часов вечера, предшествовала выпитая на Островах рюмка водки и съеденный пирог «с какой-то начинкой», отчего он «начал чувствовать сильный позыв ко сну», заснул в кустах (т. е. на *голой земле*) и увидел знаменитый сон о Миколке и лошаденке (6, 45 — 46). Кульминационный момент этого сна забываем. «Удар рухнул; кобыленка зашаталась, осела, хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает *на землю*, точно ей подсекли все четыре ноги разом» (6, 49). Когда же Раскольников после этого идет на Сенную, чтобы услышать там, как мещанин и баба приглашают к себе Лизавету Ивановну «завтра, часу в семом-с» и стать таким образом «приговоренным» к убийству, как к смерти, он не видит там никакой земли: упоминаются лишь столы, лотки, лавочки, харчевни, распивочные, грязные и вонючие дворы — одним словом, чисто городские, далекие от природы, а следовательно и от земли, бытовые реалии (6, 51—52).

Но нам доподлинно известно, что в то время, когда писался роман, в 1865—1866 гг., Сенная площадь еще не была мощена бульжником.¹ Столы, лотки и лавочки стояли прямо на земле. А значит, и Раскольников, лобызая двенадцать дней спустя петербургский «грунт» (именно столько длится действие «Преступления и наказания», если не считать эпилога), целовал сырую болотистую землю Ингерманландии. Зыбкую почву, на которой силою воли и разума человека был построен великий город из мрамора, кирпича и гранита. И слишком неточен, схематичен, а потому лишь частично прав был Г. Д. Гачев, считавший, что Петербург у Достоевского — «огнекамень на воде против ветра и света», а тем самым антипод

¹ Площадь замостили бульжником только в 1883—1886 гг, а асфальтировали в 1930-х См *Синюхаев Б. Г.* Садовая улица Л., 1974 С 28

Руси, которая и есть «мать-сыра земля, значит, водоземля».² Земли в северной столице было не так мало, а именно земли сырой в прямом смысле слова; исследователь верно заметил, что самая любимая Достоевским разновидность земли — грязь, т. е. соединение земли с водой.³ И все же если произвести простой статистический подсчет частотности употребления лексемы *земля* в «Преступлении и наказании» (я и не замедлил это сделать), то окажется, что она в самом деле встречается в романе сравнительно редко — всего двенадцать раз на протяжении 422 страниц! Нельзя не признать тот факт, что роман об идейном убийце — самый урбанистический из всех пяти великих романов Достоевского. По обилию образов городской среды эпохи «первоначального накопления» (тесные улицы, грязные площади, бульвары, мосты, рынки, трактиры, каменные стены, подворотни, лестницы, наемные квартиры, пыль, вонь, духота, известка, кирпич и многое другое в этом духе) с ним могут сравниться только «Униженные и оскорбленные», но они в художественном отношении слабее. Великий писатель, москвич и мещанин по происхождению и по образу мысли,⁴ был так же очарован жестокой красотой единственного русского *urb's* XIX в., как и его старший современник В. Г. Белинский — вечный двойник и постоянный объект любви-ненависти Достоевского. И все же обращения к образу земли, столь редкие у Достоевского, играют в «Преступлении и наказании» далеко не последнюю роль.

Вернемся к вышеупомянутой сцене покаяния Раскольникова. Важно определить, какой именно смысл приобретает этот образ и какую функцию он выполняет в сложной семантической гамме романа.

Оказавшись на площади, герой сразу же попадает, как сказал бы М. М. Бахтин, в чисто карнавальную, площадную атмосферу.⁵ Она прямо противоположна индивидуалистической уединенности, в которой пребывал Раскольников в своей каморке и где вынашивал гордую идею о двух разрядах людей. Целованию земли предшествует интуитивное приобщение к народной площадной культуре, которую презирает всякий индивидуалист и рационалист Нового времени. Достоевский реалистически точен: площадная культура

² Гачев Г. Д. Космос Достоевского // Проблемы поэтики и истории литературы (Сборник статей) Саранск, 1973 С. 117

³ Там же С. 120

⁴ О городском, мещанском характере мышления и художественного стиля Достоевского см. *Переверзев В. Ф. Творчество Достоевского* // Переверзев В. Ф. Гоголь Достоевский. Исследования М., 1982 С. 216—234. Следует, конечно, критически отнестись к устаревшему «абстрактно-классовому» методу Переверзева (выражение Г. Н. Поспелова), но органическая связь творчества писателя с мирозерцанием чисто городских сословий — неоспоримый факт.

⁵ См., например *Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского* 4-е изд. М., 1979 С. 148—149

означает безобразия, пьянство и гомерический хохот. Вид пляшущего пьяницы, при взгляде на которого Родион Романович «коротко и отрывисто захохотал», однако приближает героя к внезапному прозрению и желанию совершить символический акт приобщения к народу, а значит, и к земле, ибо простой, или, как говорили на Руси, черный народ самым рождением своим связан с землей. Прозрение происходит на видном, семантически значимом, как бы «лобном» месте — в середине площади, на перекрестке дорог, одна из которых ведет в глубь и в середину русских земель, в Москву. Получилось так, как желала Соня: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил» (6, 405).

Но что означают эти загадочные слова: «...потому что ты и пред ней согрешил»?⁶ На мой взгляд, ответом на этот вопрос может послужить весь роман. Проще всего, наверное, вспомнить слова Ивана Карамазова о том, что он не Бога не принимает, а мира, им сотворенного, не принимает. А значит, не принимает естественного, посястороннего, *земного* порядка этого мира, не может с ним примириться, не понимая, что в этом на первый взгляд несправедливом мире существует высшая справедливость. Интересно, что в минуту сомнения, когда тело усопшего старца Зосимы стало источать тлетворный дух, его брат Алеша инстинктивно бросается на землю, обнимает и целует ее, чтобы она укрепила пошатнувшуюся веру в то, что окружающий мир устроен не по злему, а по доброму принципу. Другой пример: в Пушкинской речи Достоевский, явно модернизируя, говорил об Онегине, которому недоступен покой, ибо он оторван от родной почвы, и о Татьяне, которая сильна именно тем, что не об одном только личном счастье и достоинстве думает, а следует законам высшей справедливости, некоей вековой мудрости многих народов. Согласно ей, человек не должен бунтовать против устройства мира сего. И Онегин, и подпольный человек, и Иван Карамазов, и Ипполит Терентьев, и Алексей Кириллов, и Родион Раскольников — все они — романтические бунтари, ставящие личное достоинство выше веками установленного порядка. Его коренной, посясторонний, «почвенный» характер Достоевский неоднократно подчеркивает. Герой «Преступления и наказания» согрешил не столько против «народной правды», сколько против правды земной. Народ (в том числе пьяная толпа на площади) не является ее творцом — он, скорее, ее носитель, и притом не единственный. Простые люди ближе к простой

⁶ Отметим, что Соня, говоря Раскольникову о его грехе перед землей, выразилась более резко: «Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты *осквернил*, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: „Я убил!“» (6, 322; курсив мой. — В. Ш.).

правде земного мира, так как им не мешает болезненная рефлексия и уязвленная гордость индивидуалистов. Раскольников согрешил, так как на земле полагается жить и помогать или хотя бы давать жить другим, а не убивать их из гордости.

Нельзя не заметить, что в этих представлениях довольно отчетливо выражена точка соприкосновения художественной «правды» романа с идеологией почвенничества, одним из главных вдохновителей и вождей которого был Достоевский в годы создания «Преступления и наказания». Исследователи этого направления русской мысли обычно (и совершенно справедливо) отмечают антипросветительский, неоромантический аспект в понимании его центральной категории — народной почвы.⁷ *Народная* в данном случае означает «национальная»: почвенники в определенном смысле следовали за Гердером и Шеллингом, стремясь подчеркнуть, что все здоровые идеи и тенденции развития должны быть не навязаны извне или силой, а органически вытекать из местных природных и исторических условий Гораздо в меньшей степени обращается внимание на противоположный идейно-семантический полюс почвенничества — антиромантический. Причем если в роли главного связующего звена между идеями почвенников и романтической категорией национального духа выступил Аполлон Григорьев,⁸ то главным «реалистом» оказался Достоевский. Последовательно отмежевываясь от просвещенного национализма славянофилов (а тем более от аксаковской апологии православно-крестьянской ограниченности), он понимал возвращение интеллигенции на *родную* (это важнее, чем на национальную или народную!) почву и как органическую связь с местом рождения, с традициями этого места и живущего на нем рода-племени, и как отказ от доктринерства, и посильный органический труд на своей *родной земле*, сообразно с ее реальными условиями «Случается, что переселенцы, когда идут за тысячи верст, со старого места на новое, плачут, целуют землю, на которой родились их отцы и деды; им кажется неблагодарностью покинуть старую почву — старую мать их, за то, что иссякли и иссохли сосцы ее, их кормившие. Они берут с собой в дорогу по горсти старой земли, как святыню, чтоб завещать эту святыню своим правнукам, в вечное, благоговейное воспоминание. Но проходит время — и правнуки уже дивятся тому, что их деды так почитали эту простую горсть простой земли. И правнуки правы; у них давно уже есть своя, новая почва, уже им служившая, их

⁷ См., например *Epstein M The Russian Philosophy of National Spirit Conservatism and Traditionalism* Washington, 1994, *Lazar I A W kregu Fiodoia Dostojewskiego* Łódź, 2000, *Шукин В Г Российский гений просвещения Исследования в области мифопоэтики и истории идей* М, 2007 С 135—137

⁸ См. *Серман И З Достоевский и Аполлон Григорьев // Достоевский и его время* Л, 1971 С 132—133

кормившая. Но у нас, у нас! Какая у нас новая почва? Мы ведь даже и не переселенцы. Мы просто поднялись в воздух. В самом деле, наше внутреннее ощущение часто теперь бывает похоже на ощущение воздухоплователя, поднявшегося на 7000 футов от земли. Он, конечно, с такой высоты может сделать много прелюбопытнейших наблюдений, разумеется, слишком отвлеченных, не совсем *близких*, и главное — как-то нестерпимо *высока*; а все-таки, какую бы любовь он ни питал к науке, ему всё хочется на землю. Даже трусит немножко один-то... дышать трудно, упасть можно... Ведь воздушный шар-то, пожалуй, может лопнуть, как мыльный пузырь...

Да уж согласимся наконец, вымолим всю правду: мы и *русскую*-то нашу землю любим как-то условно, по-книжному» (19, 148).

Ситуация «переселенцев», о которых вспоминает Достоевский, хотя бы отдаленно напоминает состояние Раскольникова, покидающего не родную, зыбкую, но все же ставшую близкой петербургскую землю. И они, и он уходят в неведомое, на поиски новой жизни на новой земле, среди новых людей. Чтобы эта будущая жизнь удалась, нужно ее символически связать со старой, дабы не прервалась живая нить традиции. С другой стороны, поцеловать землю значит для Достоевского подтвердить верность простому принципу: никакие идеалы не должны быть оторваны от земных реалий; надобно быть реалистом, обеими ногами стоящим на твердой почве действительности.

Замечу, однако, что на Сенной площади убийца Алены Ивановны не ведет себя так, как православный простолюдин, не отступающий от формы: не трижды, не семь раз кладет он земной поклон, а всего дважды. Но необходимый акт признан совершившимся: пьяненький мещанин объявляет площадной толпе, что Раскольников собрался идти в Иерусалим, т. е. совершает святое дело — «с родиной прощается», лобызает родную землю. Но Достоевский не выдерживает данный эпизод в духе монологичной религиозной однозначности, и потому пьянчужка травестирует святость, вставляя в свое патетическое высказывание двуголосое ироническое слово: «...с родиной прощается, всему миру поклоняется, *столичный город Санкт-Петербург и его грунт* лобызает» (6, 421; курсив мой. — В. Щ.). А Раскольников и впрямь собрался в Иерусалим, но не в старый, а в новый, мессианистски-утопический. Правда, он еще не знает об этом, но ведь спустя полтора года выйдет он с Соней на берег «широкой и пустынной реки», а там, на том берегу, «была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его» (6, 421). Но ведь это в Апокалипсисе говорится, и это любил повторять Достоевский: «Времени уже не будет» (Откр. 10 : 6). И опять-таки: в отличие от Иоанна Богослова автор «Преступления и наказания» не был бы самим собою, если бы в небесных мистических зонах, а не в реальном земном мире поместил утопическую (в данном

случае прииртышскую) степь, в которой живут свободные и безгрешные люди.⁹ Обратим в этой связи внимание на один любопытный эпизод романа. В пятой главе третьей части Раскольников объясняет Порфирию Петровичу сущность своей идеи о существовании двух разрядов людей: «Первые сохраняют мир и приумножают его численно; вторые двигают мир и ведут его к цели. И те, и другие имеют совершенно одинаковое право существовать. Одним словом, у меня все равносильное право имеют, и — *vive la guette eternelle*, — до Нового Иерусалима, разумеется! — Так вы всё-таки верите в Новый Иерусалим? — Верую, — *твердо* отвечал Раскольников; говоря это и в продолжение всей длинной тирады своей, он смотрел в *землю*, выбрав себе точку на ковре. — И-и-и в Бога веруете? Извините, что так любопытствую. — Верую, — повторил Раскольников, *поднимая глаза* на Порфирия. — И-и-и в воскресение Лазаря веруете? — *Верую*. Зачем вам всё это? — Буквально веруете? — Буквально. — Вот как-с...так поллюбопытствовал. Извините-с» (6, 200—201; курсив мой. — В. Щ.).

По замыслу Достоевского, этот диалог должен продемонстрировать сущность того, что писатель называл атеизмом: при таком атеизме сохраняется утопическая вера в благополучный конец кровавой истории человеческого рода, воплощением чего является символический образ *земного* Нового Иерусалима.¹⁰ В Новый Иерусалим Раскольников верит *твердо*. Говоря об этом, он смотрит в землю (точнее, вниз, на пол), — но и те герои Достоевского, которым писатель по преимуществу симпатизирует и которые высказывают не совсем удобную для себя правду (например, таинственный мещанин в халате, прямо сказавший Раскольникову, что он «убивец и есть», Иван Шатов, Алексей Карамазов), очень часто смотрят в землю. Убийца Алены и Елизаветы Ивановны поднимает глаза тогда, когда Порфирий спрашивает его про веру в Бога, потому что в этом случае он не уверен в том, что именно есть истина, и боится, что ему не поверят. На самом деле Раскольников не знает, есть ли Бог, потому что для него Бог-творец не представляет никакого интереса.¹¹ Иное дело — Бог

⁹ О сибирских аспектах социально-нравственной и историософской утопии Достоевского см.: *Pozniak T Dostojevski i Wschod Szkic z pogranicza kultur* Wroclaw, 1992 S 37—51

¹⁰ Согласно учению Сен-Симона и его последователей, чьи труды были хорошо знакомы Достоевскому и другим петрашевцам, вера в Новый Иерусалим означала веру в наступление «золотого века» в реальном будущем Ср *Комарович В Л Юность Достоевского // Былое* 1924 № 23 С 7—9, *Мировая гармония Достоевского / Атены Труды Пушкинского Дома Пг, 1924 Кн 1- 2 С 112—142*

¹¹ В минуту откровения, в разговоре с Соней, Раскольников обнаруживает не чистый атеизм, а агностическое сомнение «Да, *может*, и Бога-то совсем нет» (6, 246, курсив мой — В Щ.)

как бессмертие: по сути, апокалипсическое «времени уже не будет» означает также то, что «смерти уже не будет».

Будучи человеком XIX в., эпохи холодного критического мышления, неверия и сомнений, Раскольников не верит ни в бессмертие души, ни в чудесные возможности Христа, якобы воскресившего Лазаря. Поэтому его ответ на последний вопрос Порфирия — прямая ложь. Читатель может судить об этом по отчетливому звуковому сигналу: голос героя дрогнул («Ве-верую»). По мнению «атеиста» Раскольникова, человек во веки веков обречен на смерть, и Христос не в силах отменить приговора Саваофа, провозглашенного им после грехопадения Адама и Евы: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3 : 19). Но только примитивные люди (или, по выражению Достоевского, люди «жирные», т. е. довольные собой и всем вокруг), придя к подобному «атеистическому» выводу, успокаиваются и не надеются на возможность чуда.¹² Раскольников не «жирный»,¹³ а потому и просит Соню прочесть ему то место из Евангелия от Иоанна, где говорится о воскресении Лазаря. Если бы в нем не было этой искры надежды, духовное перерождение, начавшееся с лобызания земли на Сенной площади, не состоялось бы.

Земля в значении «почва» (в прямом смысле), «городская болотная грязь», т. е. та земля, которую целует Раскольников на Сенной, начинает семантически расщепляться. Небольшой фрагмент текста, приведенный в начале статьи, содержит в себе указания на иные, метафорические значения этого слова. Это, во-первых, *родная земля*, родина-мать — место, на котором живут православные русские люди. Во-вторых, это жилая поверхность планеты Земля, родина всех без исключения людей, их грешная, внизу под небом расположенная *земная юдоль* (слово *юдоль* буквально означает «низкое место, долина», ср. польск. *wadol* — «долина, лощина, овраг»). По Достоевскому, не на небе, а именно в земной юдоли всегда найдется место для чуда, способного помочь человеку совершить подвиг человеколюбия¹⁴ и вернуть золотой век хотя бы через тысячу лет. Таким маленьким

¹² Достоевский не верил в возможность примирения с неизбежностью полной (физической и духовной) смерти и потому не мог себе представить спокойного, небунтующего человека, который точно знает, что умрет и не воскреснет.

¹³ Примером «жирного» характера может служить Петр Петрович Лужин. Имя, отчество и фамилия этого героя в высшей степени «петербургские» (хотя происходит он из той же провинции, что и Раскольников), а главное — «неземляные»: Петр Петрович означает «камень и сын камня», и этот «каменный камень» к тому же погружен в лужу.

¹⁴ Писатель (не без подспудного влияния сознательно отвергаемого Фейербаха) понимал человеколюбие как синоним боголюбия, что не соответствовало Священному Писанию в целом (за исключением Нагорной проповеди), а также букве и духу учения Отцов Церкви.

чудом является в романе Соня Мармеладова, которая, по рассказу ее отца, вынесла ему последние тридцать копеек, и так молча на него посмотрела, как «не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют» (6, 20). Автор романа умышленно воплотил «небесные» черты в образе дочери пьяницы, к тому же вынужденной «испачкаться», выйти на панель. Только на земле возможны подобные чудеса. Далекая планета, на которой живут счастливые безгрешные люди, никого не спасет, как не спасла она героя «Сна смешного человека», вынужденного вернуться на землю и там начать новую, праведную жизнь. В-третьих, это могильная земля, содержащая в себе тот самый прах, которым человек, по словам Всевышнего, изначально был и в который обратится после смерти.

В этой связи интересно вспомнить известные слова Христа о живом и умершем зерне, запечатленные в Евангелии от Иоанна и послужившие эпиграфом к «Братьям Карамазовым»: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12 : 24). Церковнославянский вариант того же евангельского стиха Достоевский завещал начертать на своей могиле. Эти слова о зерне и *земле* (в самом первоначальном, язычески-материальном значении этого слова — как о стихии, из которой появляется и в которую после смерти обращается все живое) выражают сущность пасхального феномена и самым непосредственным образом связаны с верой в преобразование и последующее воскресение живой твари в совершенно новой ипостаси. Подобное представление отдаленно напоминает индуистское учение о карме, но христианская реинкарнация отличается от индийской тем, что Христос ставит будущее преобразование к новой жизни и к новому творчеству в зависимость от необходимости пройти сквозь смерть и тление. Сначала нужно мертвым лечь в землю и обратиться в прах по завету Создателя, а лишь потом воскреснуть и «многъ плод сътворити». Таким образом, бессмертия нет, но есть воскресение после неизбежной смерти. Воскресение Лазаря, вокруг которого сосредоточивается целый ряд проблемных кругов «Преступления и наказания», относится к подобному ряду явлений.

Жизнь автора этого романа, «падшего» в молодые годы почти что на самое дно фейербахианско-социалистического «безверия», стоявшего на Семеновском плацу¹⁵ и с минуты на минуту ожидавшего смерти, а затем медленно преобразовавшегося и возрождавшегося к новой жизни, удивительно напоминает отразившуюся в словах Спасителя архаическую пасхальную схему, столь популярную

¹⁵ Еще одна большая петербургская площадь. Как же, однако, разительно отличался этот пустой, чистый военный *плац* от грязной, торговой, «народной» Сенной!

в Средние века и на Западе Европы, и в Византии, и на Руси. Не воскреснет духом, не возродится тот, кто не согрешил, не упал, не предал неба, не прошел сквозь земную — земляную грязь, а метафорически — сквозь бездну преисподней. И любимые герои Достоевского — все, кроме «положительно прекрасного» князя Мышкина, чудесным образом спасшегося от грязи, но не застрахованного от ее тлетворного влияния, — обязательно должны усомниться и пасть или пожертвовать своей чистой или счастьем, чтобы впоследствии обрести свой Новый Иерусалим.

Можно еще и еще раз удивляться «умышленности» и логической последовательности Достоевского-художника, которого многие без должного основания считают иррационалистом. В шестой главе второй части «Преступления и наказания» Раскольников вспоминает, как где-то читал,¹⁶ что за час до исполнения приговора один приговоренный к смерти думает о том, «...что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, *на скале*, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, — а кругом будут *пропасти, океан*, вечный мрак, вечное *удинение* и вечная *буря*, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить — только жить!.. Экая правда!» (6, 123; курсив мой. — В. Щ.).

Вечное физическое существование в нарушение всех законов земного бытия оказывается у Достоевского прозябанием на «аршине» *каменного, скалистого* пространства, над доступной всем *ветрам* пропастью, среди *бушующих вод*, в полной изоляции от людей. Тем самым автор романа дает понять, что жизнь без земли (почвы), выступающей как образно-символическое обозначение живой традиции и живой связи с ближними, не имеет смысла, хотя стремление «телесной» стороны каждого из нас к физическому бессмертию по-человечески понятно.

Как уже говорилось, слово *земля* в разных значениях упоминается в романе только двенадцать раз. Его действие происходит в большом, тяжелом для жизни городе в начальный период индустриализации, когда триумфы праздновали совсем другие материальные, социальные и духовные стихии, а об экологии мало кто думал.¹⁷

¹⁶ Раскольников мог это прочесть в двенадцатом номере журнала «Время» за 1862 г., на с. 230, во второй главе одиннадцатой книги романа В. Гюго «Собор Парижской богородицы». Ср.: *Коган Г. Ф.* Реальный комментарий к роману «Преступление и наказание» (6, 377).

¹⁷ Тем не менее Раскольников о ней думает, и в какой момент думает! Идя с топором к дому Алены Ивановны и проходя мимо Юсупова сада на Садовой, он мечтает о расширении площади садов, об устройстве фонтанов... «Тут заинтересовало его вдруг: почему именно, во всех больших городах, человек не то что по одной необходимости, но как-то особенно склонен жить и селиться

Самый беглый анализ визуальных, акустических и обонятельных образов городской среды в «Преступлении и наказании» свидетельствует о том, что в духоте переулков вокруг Сенной, в духоте дешевых комнатух, похожих на шкаф или на гроб, рождаются страшные, ущербные мысли «Всем человекам надобно воздуху» (6, 336), — говорит Свидригайлов,¹⁸ который стреляет себе в лоб за Невой, в густом и холодном тумане. На протяжении всей этой сцены слово *земля* не упомянуто ни разу: все время вода, сырость, туман, ветер, мокрые кусты и даже (примечательная деталь!) бесконечная деревянная мостовая Большого проспекта, по которой идет самоубийца и которая заканчивается, — разумеется, землей, но об этом в романе ни слова.

Кажется, еще никто не отметил, что жара и духота, сопровождавшие героев на протяжении почти всего романа, кончились грозой, которая разразилась ровно за сутки до целования земли: «К десяти часам надвинулись со всех сторон страшные тучи, ударил гром, и дождь хлынул, как водопад. Вода падала не каплями, а целыми струями хлестала землю» (6, 384). Поистине мифологический образ — животворящая влага! При всем том Достоевский, как метко заметил гениальный М. М. Бахтин, амбивалентен¹⁹ эта оросившая городскую землю первая и последняя в романе небесная влага предвещает и смерть Свидригайлова, и «воскресение» Раскольникова.

Воскресший к новой жизни бывший преступник окончательно поверит в чудо о Лазаре уже в эпилоге, на каторге. Душный каменный Петербург превратится в воспоминание, похожее на страшный сон. И на протяжении эпилога упоминание о земле ни в каком значении уже не появится ни разу.

в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь, и всякая гадость» (6, 60). А где сады, там и земля.

¹⁸ Те же слова повторяет Порфирий Петрович во время последней беседы с Раскольниковым, когда предлагает ему не трусить, а явиться с повинной: «Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!» (6, 351).

¹⁹ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1974. С. 140—155, 174—175.

Ф. В. МАКАРИЧЕВ

ФЕНОМЕН «ХОХЛАКОВЩИНЫ»

Хохлакова традиционно воспринимается в романе «Братья Карамазовы» как второстепенный персонаж. В то время как она представляет не только уникальный опыт Достоевского в создании женских образов, но и характеров вообще. Ведь за этим образом